



Илья

Евгений

ИЛЬФ И ПЕТРОВ

В краю испуганных
идиотов

Заметки на полях

Илья Ильф

**В краю непуганых
идиотов (сборник)**

«Алгоритм»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ильф И.

В краю непуганых идиотов (сборник) / И. Ильф — «Алгоритм»,
— (Заметки на полях)

ISBN 978-5-906914-05-7

«Обязательно записывайте, – часто говорил Ильф своему соавтору, – все проходит, все забывается. Я понимаю – записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя». Факты, события, мельчайшие детали, а главное, портреты странных, чудаковатых, нелепых и недалеких соотечественников – все это, взятое из записных книжек и вроде бы написанное для себя, сложилось в красочный образ «края непуганых идиотов», где развернутся события «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», края, где «Кавказский хребет создан после Лермонтова и по его указаниям», а «некультурный человек» видит во сне «бактерию в виде большой собаки», края, из которого так и не вырвутся ни «великий комбинатор», ни его создатели.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906914-05-7

© Ильф И.
© Алгоритм

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Илья Ильф, Евгений Петров | 6 |
| И. А. Ильф – М. Н. Ильф | 6 |
| Е. П. Петров – В. Л. Катаевой | 24 |
| Евгений Петров | 29 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 37 |

Илья Ильф, Евгений Петров
В краю непуганых идиотов (сборник)

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Илья Ильф, Евгений Петров Письма из Америки

И. А. Ильф – М. Н. Ильф

4 октября 1935 г.

...сегодня третий день я двигаюсь на «Нормандии». В шторм она еще похожа на пароход, по крайней мере, качает. А в тихую погоду, это просто громадная гостиница с роскошным видом на море. Пароходного, в том смысле, как мы привыкли, здесь очень мало. Но так как шторм продолжается с той минуты, когда мы покинули Гавр, то, в общем, впечатления все-таки морские. Опять меня не укачивает, и я отношусь к этому даже с боязливым удивлением.

Самое удивительное на «Нормандии» – это вибрация. Только теперь я знаю, что от вибрации все издает звук. У меня в каюте звучат: стены, кровать, шкафы, умывальник, лампочки, полотенца, пуговицы на пальто, носовой платок, живопись на стене. Каждый предмет вибрирует и звучит по-своему. Не удивляйся тому, что мой почерк изменился. Это он вибрирует. Я вибрирую вместе со всеми, и весь этот сумасшедший ансамбль звуков с трудом продирается через довольно злобный океан к Америке.

Если к вибрации относиться спокойно, то здесь довольно удобно. Каюта у нас огромная обшита светлым деревом, потолок, как в метро, роскошный, стоят две широкие деревянные кровати, шкафы, кресла, свой умывальник, душ, уборная. Так как нам везет, то в Париже, когда мы меняли шипс-карты на билеты, нам дали каюту не туристскую, а первого класса. Они это делают потому, что сезон уже кончился, чтобы первый класс не пустовал безобразно. Вообще, пароход громаден и очень красив. Но в области искусства здесь явно неблагополучно. Модерн вообще штука немножко противная, а на «Нормандии» это еще усиливается золотом и бездарностью.

Через четыре часа после отхода из Гавра «Нормандия» делает свою единственную остановку – в Саутгемптоне. Оттуда еще можно отправлять письма...

4 октября 1935 г.

...сейчас уже вечер, мы где-то посередине дороги, посередине океана. Тепло, темно, налетел очень мягкий дождик. Что-то пассажиры погрузнели, лежат, читают, думают. Вчера лежали почти все, от трехсот пятидесяти человек туристского класса осталось не больше тридцати на ногах. Да и у тех как-то странно бегали глаза. Сегодня утихло, но у них еще не прошла душевная опустошенность, вот они и грустят. На «Нормандии» едет группа наших инженеров с радио-конструктором Шориным. Все легли костюми, показались сегодня на минуту и снова укрылись в свои каюты. Один я хожу – безумный адмирал, нечувствительный к морской болезни.

Вчера в танцевальном зале было кино. И сегодня тоже. Но показывали ужасную дрянь. Кормят здесь отлично, без особенного вдохновения, но очень разнообразно и в количестве, превышающем возможности человеческого желудка. Ем не очень много, в меру, сплю, вообще отдыхаю после беготни по Праге и Вене. В Париже я не бегал.

В салоне для сочинения писем, где я сейчас нахожусь, живопись такая, как в фойе какого-нибудь одесского театра миниатюр в 1911 году. Прямо непонятно. Какие-то маркизы, и так странно плохо нарисованные, что, кроме удивления, никаких чувств не вызывают...

В Нью-Йорк мы должны прибыть 7 октября к часу дня. В печатном списке пассажиров я значусь как «Mrs» (мистрис Ильф). Это смешно. Еще едут с нами мистер Бутербродт, мистрис

Бутербродт и юный мастер Бутербродт. Маршак бы написал про них стихи для детей: «Страшный мистер Бутербродт».

Океан безлюден. Ни одного парохода не видел. Идем мы быстро. Все время заполняем громадные американские анкеты: «Покрыты ли вы стружьями?», «Анархист ли вы?», «Не дефективны ли вы?». И так далее...

4 октября 1935 г.

...О Париже могу сказать, что увидел в нем много, что раньше было менее заметно. И эти черты довольно отвратительны. Однако он красив невероятно. У меня все же такое впечатление, что для многих знакомых художников он уже кончился, как в свое время кончилась для них Одесса. И почти все они хотят ехать в Москву...

Почерк продолжает вибрировать. Не удивитесь тому, что получите сразу несколько писем. Все они будут написаны на пароходе и отправлены из Нью-Йорка...

[Нью-Йорк], 8 октября 1935 г.

...Хотел писать тебе еще вчера, но пристали мы к гавани только в 5 часов вечера, потом были всякого рода формальности, в городе я оказался только вечером, погулял полтора часа и так впечатлился, что сил уже не нашлось.

Когда подъезжал к Нью-Йорку и ходил потом по нему, то испытывал чувство гордости, что люди могут воздвигнуть такие громадные здания. Они видны за пятьдесят километров и поднимаются, как столбы дыма.

Сначала мы поселились в старомодном отеле «Принц Джордж», где много добрых негров прислуг», но уже сегодня переехали в большой современный «Шелтон Отель». Живу на 27-ом этаже, из окон виден этот отчаянный город... Никакие фотографии представления о нем, конечно, не дают. Боюсь, что о нем даже нельзя рассказать так, чтобы это было понятно.

Сегодня мы виделись с нашими издателями; на днях, оказывается, выходит новое издание «Золотого тельца», и нам дадут какие-то деньги, как видно, небольшие. Консул пригласил нас поехать с ним на две недели в Чикаго, Детройт и другие места в этом же районе. Он едет на автомобиле через Канаду. Девятнадцатого числа мы с ним поедем и снова вернемся в Нью-Йорк. Здесь пробудем еще неделю и начнем свое путешествие по стране...

[Нью-Йорк], 11 октября 1935 г.

...Мы купили прекрасную пишущую машинку, и я на ней сейчас пишу медленно и важно. В понедельник мы едем в Вашингтон в полпредство. Нас просили туда приехать на один день. Ехать надо поездом часов пять. Я забыл, что Вы не знаете, когда понедельник, но здесь иначе не считают, это будет четырнадцатое. Что касается поездки, о которой я Вам писал, в Чикаго и Детройт, то она немножко затуманилась, потому что консул, возможно, не сможет отлучиться на такой срок. Но если не это, то будет другое что-нибудь. Машинка стоит тридцать три доллара. Извините за эту неожиданную фактическую справку.

Дел и хождения очень много. Вообще хотелось бы посидеть у себя на двадцать седьмом этаже и смотреть на Нью-Йорк, но нет времени. Денег мы еще ни от кого не получили, но, наверно, что-нибудь получим.

...Вчера я был на «родео». Это состязания ковбоев. Езда на диких лошадях, быках, метания лассо – душа Техаса, чтобы сказать коротко. Как-то на пишущей машинке я еще не научился излагать свои впечатления...

[Нью-Йорк], 11 октября 1935 г.

...Сейчас вечер, тепло, и в первый раз за все мои дни в Нью-Йорке, идет маленький неслышимый дождь. Но даже если бы была гроза с громом и молнией, то и ее было бы неслышно.

Город сам гремит и сверкает почище любой бури. Это мучительный город, он заставляет все время смотреть на себя, от этого глаза болят.

В «Шелтоне» жить удобно. У нас номер из двух комнат, очень чисто, а туалетное помещение стоит, как видно, на вершине возможного в этой области.

Уже скоро месяц с тех пор, как я уехал. Он прошел быстро и не быстро, не знаю даже сам. Стараюсь записывать как можно больше, иначе все вылетит из головы, потом сам не вспомнишь, где был и на что смотрел. Выберу свободный час и напишу Вам какой-нибудь один мой день подробно. Сейчас немножко устал с непривычки печатать на машинке...

[Вашингтон], 13 октября 1935 г.

...Сегодня неожиданно уехал в Вашингтон на день раньше, чем предполагал. Я думал выехать завтра утром поездом, но вдруг наш спутник по «Нормандии» К., приехавший сюда по делам субтропических растений, предложил нам ехать с ним на автомобиле. Конечно, мы согласились, и я уже здесь. Ехали мы целый день, проехали много маленьких городков и Балтимору. Американская автомобильная дорога – это замечательно. Все время я смотрел только на нее, хотя сейчас удивительно красивый красный осенний пейзаж. В Вашингтоне я пробуду два дня – и назад в Нью-Йорк.

Особенно интересно было ехать вечером, катишься, как на карусели и все двести пятьдесят миль дороги (это почти четыреста километров), кругом, и позади, и спереди, и навстречу катят автомобили. Какие-то старухи управляют машинами, девочки, все словно сорвались и едут, едут изо всех сил...

[Вашингтон], 15 октября 1935 г.

...Вчера смотрел город и провел весь день у полпреда. Вашингтон – тихий парламентский город, где на каждых двух жителей приходится один автомобиль. Жителей, кажется, триста тысяч, а автомобилей двести тысяч. Так что пешеходов на тротуарах нет или почти нет. Все едут по мостовой. Был в штате Вирджиния, в доме Джорджа Вашингтона, патриархальном американском поместье начала прошлого века. Идиллический пейзаж и тихая громадная река Потомак.

Завтра прием в консульстве и приглашено двести человек. При моей застенчивости это не бог весть, какое удовольствие.

Но это необходимо...

[Нью-Йорк], 17 октября 1935 г.

...Вчера состоялся прием в консульстве. Было сто двадцать человек критиков, издателей, критикесс, деятелей и особенно деятельниц искусства. Нас здесь знают довольно хорошо и хорошо относятся. Кроме того, был Бурлюк, старый и пьяноватый, но симпатичный. Был и Мамульян, режиссер «Королевы Кристины», которую мы, кажется, вместе видели на кинофестивале. Он поведет нас на негритянскую оперу, которую недавно поставил. Все говорят, что это замечательная работа.

Прием сошел для меня хорошо, и я не очень томился. Порядок такой: консул с женой стоит на площадке лестницы и встречает гостей. Мы стоим позади них, нас знакомят. Гости говорят что-то приятное и удаляются в торжественные залы пить водку и пунш. Потом приходят другие, тоже что-то говорят и тоже удаляются пуншевать. Потом понемногу начинают уходить. Мы все время стоим на площадке, здороваемся и прощаемся. Уходить нам отсюда нельзя, пока все не уйдут, пить и есть тоже нельзя. Продолжается это три часа. Очень интересные люди и страна тоже.

Сейчас я смотрел «Квадратуру круга», которая идет на Бродвее. Очень старомодный небольшой зал. Человек в цилиндре покупает билет в кассе. Передайте Вале1, что первый

человек в цилиндре, которого я видел в Нью-Йорке, покупал билет на его пьесу. Перед началом представления пять американцев в фиолетовых косоворотках исполняют русские народные песни на маленьких гитарах и громадной балалайке. Потом подняли занавес. За синим окном идет снег. Если показать Россию без снега, то директора театра могут облить керосином и сжечь. Действующие лица играют все три акта, не снимая сапог. В углу комнаты стоит красный флаг. Публике пьеса нравится, смеются. Играют не гениально, но не плохо. Сборы средние. Вставлены несколько бродвейских шуточек, от которых автор поморщился бы. Кроме того, приделан конец очень серьезный и философский, насколько Лайонс и Маламут, переделывавшие пьесу, могут быть философами. Ничего антисоветского все-таки нет. Шутки и философию мы, однако, рекомендовали Маламуту удалить. Кстати, они пьесе нисколько не помогают. А так – неплохо...

...На будущей неделе поеду в Гартфорд к трем моим дядям, бабушке и тетке. Я забыл тебе написать, что до поездки в Вашингтон я ездил с консулом на ярмарку в Денбюри. Это в трех часах езды на автомобиле от Нью-Йорка. Видел там автомобильные гонки, развлечение довольно мрачное, балаганы, выставку коров, продавцов лекарств и игрушек, которые дают целые представления, все из Генри и «Дитя цирка».

Был вчера вечером в «бурлеске». Это ревью за тридцать пять центов. Их здесь много. Вульгарно совершенно фантастически, и поэтому интересно...

[Нью-Йорк], 20 октября 1935 г.

...Дела складываются куда хорошо. Здесь, в Нью-Йорке, придется пробыть еще недели полторы-две, а может быть, немножко больше. Все зависит от того, как пойдут дела. В большое путешествие по Америке мы едем. Отсюда в Калифорнию и из Калифорнии назад через южные штаты... Теперь будем, как видно, покупать машину. Но я еще не знаю, будет это новая машина или подержанная. Кроме того, нам предложили поехать даром на пароходе банановой компании в Кубу и Ямайку. Дорога займет туда и обратно дней двенадцать. Это мы хотим сделать после большого путешествия...

Сегодня провел день за городом. Всего час езды от Нью-Йорка – и уже совсем дикая скалистая усадьба, свежий ветер и тише, чем на Клязьме. Хозяин по случаю нашего приезда созвал множество гостей, получилось что-то вроде консульского приема, что я выношу с трудом.

С тех пор как я в Америке, два человека принесли свои книги, чтобы получить надпись от авторов. На приеме у консула – пятнадцатилетняя американочка, которая заявила, что не будет читать «Двенадцать стульев», так как ей сказали, что там плохой конец, а она книг с плохим концом не читает, а сегодня Стюарт Чейз, очень известный экономист. Он насчет плохих концов ничего не говорил...

Фотографией занимаюсь, и снимки получаются хорошие...

[Нью-Йорк], 28 октября 1935 г.

...Вчера утром заехал за мной дядя Вильям с женой, и мы поехали в Гартфорд, в штате Коннектикут. Дяде пятьдесят шесть лет, он маленький, с совершенно белыми волосами и похож на папу моего, только не лицом, а походкой и манерами. Он застенчивый, но очень смело правит машиной.

Мы ехали четыре часа. Гартфорд необыкновенно красивый город, весь заваленный большими осенними листьями. В них ходят по щиколотку. Только в торговой части большие дома. Здесь живут в красивых двухэтажных домиках в две или одну квартиры. Дядя Вильям занимает второй этаж такого домика. Там я завтракал и обедал, ел сладкое еврейское мясо и квашеный арбуз, чего не ел уже лет двадцать. Вильям, муж его сестры и еще один дядя, имени которого я не узнал, сообща занимаются продажей автомобилей «Крайслер», «Плимут», «Эссекс»

и «Гудзон». Есть еще один дядя, самый старый. Его лицо я узнал по фотографиям, которые висели у нас дома. Он уже ничего не делает. Он был знаком с Марком Твенем.

Марк Твен, когда был уже знаменитым писателем, много лет жил в Гартфорде, и я был в его доме. Теперь там библиотека, и на стене висят оригиналы рисунков к «Принцу и нищему». Познакомился он с Марком Твенем так: в 1896 году он был разносчиком и ходил по дворам, что-то продавал. Что продавал – он теперь уже сам не помнит. Твен жил рядом с Бичер-Стоу. Они сидели оба в саду, и писатель заинтересовался дядей, потому, что дядя носил длинные волосы, и сразу было видно, что он из России. Великий юморист долго его расспрашивал о России и просил дядю заходить каждый раз, когда он будет проходить мимо со своими товарами. Дядя говорит, что Твена все в городе очень любили. Но памятника ему нет до сих пор, хотя город богатый и всяких монументов много...

[Нью-Йорк], 26 октября 1935 г.

...все время некогда. Американцы бегут, и я тоже бегу. Но устаю немного и живу сравнительно размеренно. На ночь ем апельсины. Натощак тоже съедаю апельсин. Перед завтраком выпиваю стакан апельсинового сока. Всякого рода соки – это чисто американская особенность. Они пьют их несколько раз в день обязательно. Перед обедом они выпивают стакан томатного сока. До этого я еще не дошел. Есть еще банановый сок. Это не очень вкусно. Потом есть сок грейпфрута. Это громадный лимон-апельсин. Вообще американцы едят здоровую санаторную пищу – много зелени, очень много овощей и фруктов. Если бы они этого не делали, то в своем Нью-Йорке захирели бы очень быстро. Ну, пьют порядочно. Без коктейлей не обходится ни одно свидание. У нашего издателя даже в самом издательстве есть холодильный шкаф, и, поговорив с нами, он быстро составляет какой-нибудь коктейль и ставит на стол. При этом он действует так ловко, как будто никогда не издавал книг, а всегда работал в баре.

...Сегодня я ходил по городу и фотографировал. Представь себе, что произошло. Фотограф, которому я дал печатать снимки, все напечатал, что нужно было, и все отпечатки потерял по дороге ко мне. Придется ему всю эту работу начать сначала. Мне жалко, я мог бы тебе сегодня их послать. Теперь пройдет, наверно, еще несколько дней. Тебе будет интересно посмотреть. Там немножко Варшавы, Парижа, Гавра, потом пароход и Нью-Йорк. Только меня там очень мало, все снимаю я, а меня снимать некому. Но я тоже иногда есть.

Этот город я полюбил. Его можно полюбить, хотя он чересчур большой, чересчур грязный, чересчур богатый и чересчур бедный. Все здесь громадно; всего много. Даже устрицы чересчур большие. Как котлеты...

[Нью-Йорк], 29 октября 1935 г.

...Что же я делал последние дни? Позавчера видел Хемингуэя. Он большой, прочный и здоровый мужчина. Спрашивал, не знаем ли мы Кашкина. Почему вдруг Хемингуэй спрашивает про какого-то Кашкина? Потом оказалось, что Кашкин переводил его «Смерть после полудня» на русский язык. Хемингуэй был во фланелевых штанах, жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на босу ногу. Очень привлекательный и какой-то очень мужской человек. Он мне понравился. Приглашал приехать к нему в маленький городок на самом юге Флориды, где он живет, в Ки Вест. Мы обещали, но мы всем все обещаем, а когда мы успеем это сделать – непонятно. Никак не можем выбраться из Нью-Йорка, то одно задерживает, то другое. То мы заняты, то надеемся получить еще деньги, много всего.

Потом Дос Пассос повел нас в ресторан «Голливуд» на Бродвее – обедать. Он сказал, что мы увидим мечту нью-йоркского приказчика. Действительно, это было счастье матроса, после двухлетнего плавания, сошедшего на берег. Посреди зала, на низенькой эстраде, танцевали девушки и девки: полуголые, голые на три четверти и голые на девять десятых... Лица у девушек тупые, жестокие, или вдруг жалкие. Ресторан полон. И все это в семь часов дня. Потом

Дос с женой сели в свой старый, двадцать седьмого года, «Крайслер», который сторожила на соседней улице их большая, давно не бритая собака, а мы снова дали обещание. Обещали ему обязательно приехать в Ки Вест, где он тоже будет жить.

Потом пошли гулять, попали в Гарлем, часть Нью-Йорка, где живут только негры, и зашли в ресторан «Ю-бенги-клуб» посмотреть негритянские танцы. Танцы интересные, но очень половые. За столиком рядом с нами оказался Робсон, негритянский певец. Он недавно был в Москве. Вы, наверно, помните. Завтра он к нам зайдет.

Вчера утром надо было идти завтракать в литературный клуб. Называется он «Немецкое угощение». Это значит, что каждый сам за себя платит. Собираются там по вторникам для шуточного завтрака. Наши издатели Феррар и Рейнгардт требовали, чтобы я произнес на завтраке речь по-русски, а Женя, чтоб прочел эту же речь по-английски. Там принято говорить смешные речи, в этом клубе. Я, конечно, как оратор отпал сразу, ввиду решительного и обычного моего отказа. Мы сочинили короткую и комическую речь на тему о том, как нам, куда бы мы ни приехали, говорят, что это еще не настоящая Америка, и что нам надо ехать дальше. Эту речь перевели на английский язык, и Женя ее мужественно прочел, хотя за круглыми столами в зале отеля «Амбассадор» сидело множество американцев, и было от чего застесняться. Речь была встречена весьма дружелюбно. Потом говорил какой-то актер, потом хозяин «Мэдисон сквер гарден». Это большой театр-цирк. Там бывает бокс, большие митинги и прочее. Там я был на состязаниях ковбоев. Он говорил, что ему все выгодно... Он всем сдает свой зал, и только защитникам Бруно Гауптмана, который убил ребенка Линдберга, он театра не сдал. После этого нам всем четверем навесили на шею большие гипсовые медали. В промежутке между речами и медалями дали завтрак, очень странный. Сначала рыбу, потом сразу мороженое и кофе. Как награжденный медалью, я за завтрак не платил.

В три часа заехал за нами мистер Трон с женой, оба пожилые и симпатичные американцы, и мы поехали за сто семьдесят миль в Скенектади, прежде область могокан, а теперь город, где помещаются заводы «Дженерал Электрик», заводы самой передовой американской техники. Скенектади – это родина электричества. Здесь его, в общем, выдумали, здесь работал Эдисон, здесь работают мировые ученые. Приехали туда уже в десятом часу. Безумие думать, что по американской федеральной дороге можно ехать медленно или останавливаться. То есть можно и останавливаться, и ехать медленно, но когда впереди идут тысячи машин, когда тысячи машин надвигаются сзади, остановиться или замедлить ход невозможно, не хочется... Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже никогда не будет. Навстречу тоже двигались тысячи автомобилей, серебряные цистерны с молоком для Нью-Йорка, отчаянной длины грузовики, которые везут на себе сразу по три новых, 1936 года, автомобиля из Детройта.

Остановились в обычной американской гостинице, где три воды – горячая, холодная и ледяная. Ледяная, впрочем, оказалась на этот раз просто холодная. Погуляли пять минут и сразу налетели на русского. Мы покупали у него корнфлекс и заспорили по-русски – кукуруза это или нет. Тогда он неожиданно вступил в разговор и на хорошем русском языке подтвердил, что корнфлекс – это и есть кукуруза. Он здесь двадцать два года и считает, что работы нет из-за машин, которых слишком много, а они работают только на хозяина. Он чернорабочий, но так в Америке думают и многие весьма культурные люди.

Целый день мы смотрели электрические чудеса. Завод имеет триста пятьдесят зданий, мы были только в трех, правда, в самых больших. А, кроме того, есть еще и люди, что все-таки интересней всего. Здесь надо было бы побывать хоть неделю. Теперь ты понимаешь, почему мы не можем уехать в путешествие. Так много интересного, что никак нельзя, наконец, выбрать день и уехать.

Скенектади, конечно, загроможден автомобилями. В нем живет девять тысяч человек. Все они зависят от завода. Он наложил отпечаток на всю их жизнь. Среди города течет маленькая индейская река Могаук. О Скенектади расскажу тебе, когда приеду, иначе слишком

много придется писать. Выехали в пять часов, снова катились, катились без конца. На этот раз обгоняли цистерны с молоком для Нью-Йорка. Один раз обогнали громадный закрытый грузовик, на котором везли лошадей. Если бы я был лошадю, для меня было бы унижением, что меня везут в грузовике...

[Нью-Йорк]. 4 ноября 1935 г.

...Наконец мы приобрели машину и уже на днях, через два или три дня, едем. Это новый фورد. Мы его взяли в рассрочку, поедем два месяца и, если не сможем заплатить за него полностью, отдадим назад. Это выгодно, и это нам устроили. Денег у нас достаточно. Конечно, хотелось бы иметь больше, и можно было бы даже их получить. Но тут имеются некоторые обстоятельства. Дело в том, что у нас здесь прекрасная репутация и выступать нам с чем попало нельзя. Американские журналы хотят, чтобы мы писали сразу об Америке. А писать сгоряча и впопыхах не хочется. Мы можем себе только напортить. Может быть, когда мы еще поедем, и в голове прояснится, мы будем писать для здешних журналов. Но и сейчас денежные дела удовлетворительны. Поедет с нами, кажется, не Б., а мистер Трон с женой, о которых я Вам уже писал. Это американец, великолепно знающий Америку, а жена его прекрасно правит автомобилем. Мы их почти уговорили ехать.

Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал Судейкин, а играли негры. В общем, торжество американского искусства.

Позавчера был на концерте Рахманинова. Где я еще был? Столько смотришь, что сразу забываешь. Да, после спектакля Мамульян повел нас за сцену, чтобы мы сказали труппе несколько слов. И, конечно, самая негритянская негритянка вдруг заговорила по-русски. Оказывается, до революции она восемь лет выступала в России. Она произнесла даже такое слово, как «губерния». Потом откуда-то пришла индианка, настоящая индианка, и тоже стала говорить по-русски. И сама при этом очень смеялась...

[Нью-Йорк], 6 ноября 1935 г.

...Сегодня я очень жалел, что тебя нету здесь. Я был на выставке Ван-Гога. Громадная и замечательная выставка. Сто живописей и сто двадцать пять рисунков собраны со всего света. Ну, просто поразительно. Здесь и почтальон в ярко-синем мундире, и портрет актера, и мост, и автопортрет с красной бородой, и крестьяне, которые едят картофель, и пейзажи, и букет необыкновенный, и ночное кафе со столиками на улице под синим небом с колоссальными звездами, все, о чем мы только читали и мечтали посмотреть... Тут еще подобрано несколько вещей для характеристики времени Ван-Гога: несколько Сезаннов, портрет Ван-Гога работы Гогена. Это когда они жили вместе, Ван-Гог изображен пишущим подсолнухи. Хороший портрет. Потом висит Дега и еще что-то. Это только Нью-Йорк может себе позволить. Он так богат, что все может сделать. Одновременно открыта выставка Мане, сорок лучших вещей. В галереях на пятьдесят седьмой улице собраны неслыханные богатства. Кое-что можно только посмотреть, а кое-что можно и купить – продается.

То же делается в области музыкальной. Всех можно услышать за зиму: Рахманинова, Стоковского, Клемперера, итальянских певцов, что угодно. Но это уже стоит дорого. Мы, впрочем, по возвращении в Нью-Йорк будем слушать это бесплатно. Есть один театральный деятель, который все это нам устраивает.

Тюрьму Синг-Синг я смотрел очень подробно. Ужасное впечатление производит, конечно, электрический стул. На стуле Синг-Синга окончили свои дела двести мужчин и три женщины. Он помещается в большой комнате с мраморным полом. Очень чисто. Висит надпись: «Тишина». Стоят четыре деревянных дивана для свидетелей. Почему-то имеется умы-

вальник. Есть столик. В соседней комнате производят вскрытие тела. А еще в одной – до самого потолка навалены гроба. За дверью распределительный щит. Включают рубильник – и все. Человек, который включает ток, получает полтора доллара за каждое включение. В остальном, тюрьма очень культурная, с чисто американским высоким уровнем жизни. За исключением старого корпуса, построенного еще в 1825 году. Это уже совсем султанско-константинопольская темница. Страшная. Начальник тюрьмы обещал, однако, что если меня к нему пришлют, то он поместит меня в новом корпусе.

Был я на боксе в громадном зале «Мэдисон сквер гарден». Сражался Карнера с каким-то немцем. Избил его самым ужасающим образом. Не так был интересен бокс, как публика. Ревели и галдели. Вообще американцы шумные люди, веселые и крикливые, когда у них нет особенных забот. Свои газеты они шваркают прямо на тротуар. Идет человек и держит в руках газету весом в три фунта. И вдруг, как шваркнет ее. Вечером по всему Нью-Йорку их носит ветер.

Все еще тепло, и все ходят без пальто. Дел у меня много и меньше не становится. Через два дня мы уезжаем...

...У тебя уже утро и, наверно, на Красной площади идет парад. Ну, до свиданья...

[Скенеатлис], 9 ноября 1935 г.

...Сегодня я выехал из Нью-Йорка и сейчас нахожусь от него в трехстах милях. Ехали мы весь день по замечательным дорогам, завтракали в придорожном ресторане. Обедал здесь, в городке, который называется Скенеатлис. Тысяча восемьсот жителей, которые все живут в отдельных двухэтажных домиках, автомобили, «Главная улица», как во всех небольших американских городах. Сегодня мы проехали больше десятка таких городов. Все они чистенькие, красивые, но, должно быть, скучно в них жить. Уровень жизни, удобства – очень большие. Ночую я в одном из таких домов. Хозяева сдают на ночь комнаты проезжающим туристам. В таком доме шесть больших комнат, чисто невероятно, ванная на втором этаже и ванная внизу, шкаф, радио, хорошие постели. Хозяин работает и получает двадцать пять долларов в неделю, жена любит свой домик и ничего другого не знает. Очень все это интересно.

Сегодня оставили в стороне Сиракузы, проехали Помпеи, завтра утром будем проезжать Ватерлоо.

Говорят, что Одесс в Штатах четыре или пять. Тут все есть.

Извини, что пишу так неразборчиво. Машинку не хочется раскладывать. Мы едем на Ниагару, завтра там будем, потом в Канаду, на несколько часов (если пустят без визы), а оттуда в Детройт. Твои письма мне пришлют в Чикаго. Там я буду числа пятнадцатого или шестнадцатого...

[Сильвер-Крик], 10 ноября 1935 г.

...я все еще в штате Нью-Йорк, хотя проехал уже пятьсот сорок миль от самого города. Мы едем в новом форде красивого серого цвета, который называется здесь – цвет пушечного металла. Ехать удобно, жена Трона правит уверенно и осторожно, сам Трон без умолку рассказывает про Америку, которую он знает великолепно. Так что все идет очень хорошо...

Сегодня смотрел Ниагарский водопад, но там столько воды, что я здесь описывать не стану, не хватит места. Оттуда я послал тебе открытку с видом на него.

Наверно, уже пришли в Нью-Йорк твои письма и телеграммы, но я получу их только в Чикаго. Завтра вечером я приеду в Детройт, там буду два дня. Дорога займет еще один день. На сам Чикаго уйдет дня три. И числа восемнадцатого мы покатаем дальше. Там уже очень больших городов не будет до самого Сан-Франциско.

Сегодня мы опять остановились на ночлег в частном доме. Сильвер-Крик маленький город. Я уже видел их множество. Все они похожи друг на друга. Много автомобилей, главная улица называется либо Бродвей, либо Стейт-стрит (улица Штата), либо Мейн-стрит (Главная улица). В каждом есть фонтан с ангелом, который вечером освещается цветными огнями, памятник солдату гражданской войны, протестантская церковь. Зато названия городов самые разнообразные – мы проехали за два дня Сиракузы, Помпеи, Батавию, Варшаву, Каледонию, Ватерлоо, уже даже не помню, что еще. Все эти городки чистые, тихие, опрятные, но между Помпеями и Варшавой разницы нет абсолютно никакой...

В городских аптеках все книги одного и того же содержания: «Быть грешником – дело мужчины», «Пламя догоревшей любви», «Первая ночь», «Флирт женатых» и так далее. Я, кажется, еще не писал тебе про американскую аптеку. Там можно позавтракать, купить игрушку, книгу, можно поужинать, выбрать какую-нибудь мелочь из одежды. Это большие бары, где лекарства запиханы в самый уголок. Но все-таки это аптека, потому что в Вашингтоне мне подавал кофе, масло, поджаренный хлеб и апельсиновый сок доктор...

[Толидо], 11 ноября 1935 г.

...опять я проехал много маленьких городов, опять была Женева, на этот раз в штате Пенсильвания. Через час проехал Краков. Толидо – это тоже не Толидо, это Толедо, но по-английски читается «Толидо». Пока мы едем не задерживаясь. Не останавливаясь, проехали даже Кливленд, громадный город. Если всюду останавливаться, не хватит и года, чтоб проехать в Калифорнию. Пока что города только мешают. Они запружены автомобилями, и выбраться из них трудно. Через Кливленд мы пробирались целый час.

В Детройте я пробуду два дня, посету фордовский завод, потом – дальше...

Сегодня весь день идет дождь. К вечеру начался ливень, и поэтому мы заночевали в пятидесяти милях от Детройта, в Толидо. Опять живу в опрятном домике с холодной и горячей водой, ванной, радио, шкафом и картинками на стенах. Буду спать на громадной кровати с тощей подушкой. Не помню, писал ли я Вам, что американцы спят на подушках, плоских, как доллар.

Наш автомобиль ведет себя примерно и выглядит даже роскошно. В нем есть электрическая зажигалка. Можно вытянуть ноги, так что дорога не утомляет. Сегодня из-за дождя ехали небыстро и сделали двести тридцать миль. Если считать на километры, то выйдет довольно много – четыреста пятьдесят километров...

[Дирборн], 12 ноября 1935 г.

...сегодня утром я приехал сюда. Заводы Форда находятся в Дирборне, в десяти милях от Детройта. Мы были у директора заводов мистера Соренсена, человека очень интересного. Это один из тех, которые вместе с Фордом создали современную американскую промышленность. Заводы будем смотреть завтра. Сегодня были в громадном фордовском музее машин. Это удивительное учреждение. Сейчас это, собственно, еще свалка, а не музей. Экспонаты будут расставляться еще несколько лет. Тут все есть – первые паровые машины, первые паровозы и вагоны, первые автомобили, первые пирующие машинки, все есть. Потом был в лаборатории Эдисона, перенесенной сюда. Показывал ее единственный оставшийся в живых сотрудник Эдисона. Он на первом фонографе Эдисона записал те слова, которые тот говорил в первый раз, и эту оловянную ленту подарил нам. Писать обо всем, что я сегодня видел, надо много. Я тебе, если будет время, напишу...

[Чикаго], 16 ноября 1935 г.

...уже дня четыре пасмурно, и от этого и дирборнские и чикагские виды еще чернее, еще больше мглы и дыма. Когда я подъезжал к Чикаго, мимо прошло мрачное видение металлур-

гического завода Гэри, самого большого в мире. Очень делается на душе страшно и пустынно. И вовсе не потому, что у меня чувствительная душа.

Въезд в Чикаго вечером был великолепен, никогда еще не видел такого сплошного, бриллиантового света автомобилей. Но днем здесь, сейчас же за отелями и банками, начинаются такие труппы, которыми можно испугать даже итальянца...

[Двайт], 17 ноября 1935 г.

...Сейчас мы остановились в маленьком городке, я поужинал в аптеке и сейчас сижу в своей комнате. На обоях красивые веточки. Во всех домах, где я ночевал, на обоях были веточки.

Из Чикаго мы почти бежали. Это уж слишком откровенный город. Вдоль озера Мичиган стоит великолепный фронт небоскребов. Весь горизонт занят ими. Я жил на набережной в отеле «Стивенс». Там три тысячи комнат. В здании неподалеку выставлен кукольный домик, который какой-то дурак подарил какой-то киноактрисе. Он стоит миллион долларов. Все ходят на него смотреть. А рядом с этим, в двух шагах, совсем не фигуральных, начинается какая-то неслыханная дрянь. Разбитые мостовые, разбитые дома, пустыри, отвратительные дощатые заборы, переломанный кирпич, обломки железа, мусор и дым. Дым всякий – черный, белый, серый. В самом центре города какие-то старые фабричные корпуса, грязные железные дороги, опять какая-то ржавая жесть, расколотые унитаза. А если есть место получше, то надземная железная дорога закрывает весь свет и день. Ходил по городу с омраченной душой. Если стоять у озера, то нельзя поверить, что тут есть вся эта каменная и железная нищета, а если отойти на квартал, то не веришь, что есть грандиозный бульвар и озеро.

Вчера нас пригласили на студенческий бал по случаю объявления независимости Филиппин. Это было в клубе Чикагского университета. Там были все филиппинцы, довольно красивый народ, и филиппинки, совсем красивые. Были даже два индуса, очень торжественные и с черноватыми лицами. Они ходили в чалмах и смокингах, вроде Конрада Вейдта из «Индийской гробницы».

Пишу тебе очень отрывочно, все вылетает из головы.

Дальнейший наш путь такой: Канзас, Оклахома, Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-Франциско. Потом назад через Юг, как я тебе писал. Все идет пока очень хорошо. Денег хватит, тем более что мы живем скромно, а наш верный форд жрет бензина немного...

[Невада], 19 ноября 1935 г.

...уже два месяца, как я уехал из Москвы... я все еду, фонари светят далеко, автомобили попадаются редко, страна немножко переменялась... Вчера хотел тебе писать, но надо было заряжать кассеты, а потом ложиться, потому что в комнате был только один свет, а Женя собирался спать. Сейчас пишу второпях. Надо ехать в Оклахому.

Ехать очень хорошо и интересно. Вчера проехал Канзас-Сити. Этот город лежит в самом центре Соединенных Штатов. Мы в городе не останавливались, проезжали его. Зашли только в первое попавшееся кафе согреться кофе, потому что было довольно прохладно. Хозяин кафе послушал, как мы говорим, и вдруг заорал: «Где ты живешь?», а после рассказал всю свою жизнь и показал фотографии родственников. Тридцать пять лет назад он уехал из Бессарабии. И это в математическом центре Америки. Не думай, что я рассказываю тебе по порядку. Сейчас пишу, а собраться с мыслями не могу...

Невада – это маленький город в штате Миссури. Семь тысяч жителей, автомобили, семьсот безработных, получающих пособие, громадный Сити-холл (ратуша), соки апельсиновые, аптеки, где завтракают, и все, что Вы уже немножко знаете...

[Оклахома], 20 ноября 1935 г.

... сегодня я переночую в Оклахома-Сити и поеду дальше. Через два дня я буду в Санта-Фе и там задержусь на двое суток. Потом – Гранд каньон – посмотреть дикую природу, после – в Лас-Вегас – посмотреть гидростанцию, которая там сейчас строится. Затем – в Сан-Франциско. Никогда в жизни не думал, что буду в Оклахоме, Почему Оклахома, что за Оклахома? Сейчас я почти проехал Средний Запад. Здесь пшеница, элеваторы, фермеры, старинные трогательные форды, негры едут куда-то целыми семьями, с ведрами, деревянными лестницами и вообще каким-то еврейским скарбом. И уже начинаются какие-то ковбои, которые гонят стада маленьких и красивых коровок. Америка немножко изменилась.

Я писал тебе из Ганнибала, но не писал, что это такое. Маленький город на Миссисипи, где Марк Твен жил до двадцати лет. Тут есть памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну, и все знают, с кого писали Бекки Тэтчер, и у ее дома стоит мемориальная доска. Город чем-то не похож на другие, есть какие-то склоны, подъемы, обрывы, он очень похож на город Тома Сойера. Памятники паршивые. Собираются воздвигнуть еще один – всем героям Твена сразу и ему самому заодно. Он обойдется в миллион долларов и при такой сравнительно небольшой цене будет одним из самых безобразных памятников в мире. Я видел его модель...

[Амарилло], 21 ноября 1935 г.

...наконец я могу написать Вам немножко длиннее, чем писал в последние дни... Чтоб Вы могли понять, как мы едем, я Вам расскажу подробно.

Встаем мы в семь часов утра. Я бреюсь теперь каждый день, иначе нельзя. В половине восьмого мы все вчетвером идем завтракать. Завтракать можно в кафе, в аптеке или в кондитерской. В начале девятого мы выезжаем. Едем до часу, останавливаясь только тогда, если нужно купить бензин, который здесь называется «газолин». Вся дорога уставлена газолиновыми станциями. Это организовано так, что лучшего нельзя желать. Станции есть всюду. Едете ли вы через пустыню или мимо хлопковых плантаций на юге.

Обед происходит в маленьком городке. Так как городки одинаковые, то и обеды не бог весть как разнятся один от другого. Затем едем часов до семи или восьми. За день проезжаем приблизительно триста миль. Совсем не устаю. Дороги бетонные белые, ни пыли, ни грязи на них нет. Я уже отъехал от Нью-Йорка на две тысячи пятьсот миль. Сегодня, за Оклахомой, окруженной тонкими нефтяными вышками, въехали в пустыню. Ну, пустыня, конечно, американская. Шакалов нет. Есть заводы, газолиновые станции, туристские лагеря.

В городе Оклахома нефтяные вышки стоят в самом городе, почти на центральных улицах. Дело в том, что нефть нашли и в самом городе. Ее сосут изо всех сил. Да, в пустыне есть немножко песку. Но говорят, что песку будет больше, когда будем проезжать Аризону. Сегодня ехали через северную часть Техаса. Здесь он называется «Тексас». Уже видел ковбоев. Здоровенные деревенские парни на хороших лошадках... в Сан-Франциско я буду двадцать девятого ноября. До свиданья... хотел очень много тебе написать, но просто засыпаю...

[Гэллуп, Нью-Мексико], 26 ноября 1935 г.

...Санта-Фе оказался городом совсем мексиканским по виду. Нет ни кирпичных, ни деревянных американских домиков. Дома глинобитные, разноцветные. Жители ходят в ковбойских шляпах и в сапогах на высоких каблучках. Принимать их всерьез трудно. На другой день поехали на индейскую территорию. Здесь живут индейцы – пуэбло. Дома у них красноватые, горы красноватые, и реки красные. Я послал тебе много открыток с хорошими фотографиями индейских жилищ.

Шел снег, когда я приехал в деревню. Индейцы стояли на крышах, завернувшись с головой в фабричные голубые одеяла. Губернатор, к которому надо обратиться, за разрешением осмотреть деревню, тоже индеец. Он сидел в своем доме, на приступочке у чисто выбеленной стены и смотрел на глиняный камин, в котором пылало одно полено. Он стар и болен. Ему

все равно уже. Бледнолицые братья хотят пошляться среди индейцев? Хорошо, он не возражает. Опять стал смотреть на полено. Индейцы в снегу – это было то, что я представлял себе меньше всего. Женщины не очень красивы, но почти у всех мужчин замечательные лица. И дети, конечно, очень хорошие. Это все расскажу тебе, когда буду дома, это надо долго рассказывать.

Снег шел два дня, потом начался дождь. Вчера вечером выехали из Санта-Фе в Альбукерк, в такой дождь, какого даже на Клязьме не бывает. Вот забыл тебе рассказать. Позавчера вечером мы обедали в Таосе, в городке неподалеку от пуэбло. Ресторан назывался «Дон Фернандо». Дон Фернандо бродил вокруг нашего столика, рассказал, что он не испанец, а швейцарец, а под конец обеда сообщил, что в Таосе живет одна русская и как раз она сейчас в зале ресторана, слышала, что мы говорим между собой по-русски, и очень хочет с нами увидеться. Подошла она к нам минуты через три. Маленькая, немолодая, довольно нервная дама. Оказалась женой художника Фешина. Уехали они из Казани лет двенадцать тому назад. Сейчас она с Фешиным развелась, или он с ней развелся. Живет она здесь в Таосе много лет. Теперь переехала в деревушку в нескольких милях от города. Там только мексиканцы, глушь. Испания без электричества. Сидела у нас целый вечер, все время жадно говорила по-русски, тут говорить не с кем. Дала свой адрес. Где же живет русская дама? Деревня Рио-Чикито, Нью-Мексико, Юнайтед Стейтс.

Сегодня утром погода была еще дряннее. Ехали через Скалистые горы. Снег, вода, потом солнце, грязь. Перевалили горы на высоте двенадцати тысяч футов. В Гэллопе тепло и светят звезды...

[Сан-Франциско, Калифорния], 8 декабря 1935 г.

...я приехал сюда вчера. Город большой, красивый, в общем, Фриско. Еще ничего почти не видел, поселился в консульстве, консул, как все наши консулы, очень милый, простой и приятный человек. Дорогой сюда попали еще в один Национальный парк, Секвойя-парк. Извини, что я вдруг пишу все время о природе, но каньоны, пустыня, горы – все это необыкновенно прекрасно, не думать об этом нельзя. Что бы это ни было, Сьерра-Невада или громадные четырехтысячелетние деревья секвойя – все это поражает. Некоторые секвойи, самые старые, имеют имена. Одно дерево называется «Генерал Шерман», другое – «Сентинел», что значит «Часовой», «Страж»...

...Вчера даже совсем не успел тебе написать. Мои письма, наверно, приходят пачками. Это потому, что зимой из Нью-Йорка быстроходные пароходы идут уже не каждый день. А почта сдается на самые быстрые.

В Калифорнии лето, апельсиновые рощи, морской туман. После резких очертаний и блеска пустыни здесь все мягко и неопределенно...

[Сан-Франциско], 7 декабря 1935 г.

...Ко многому здесь я уже привык, но вот вчера или позавчера на одной площади в Сан-Франциско увидел маленький, совсем незаметный столбик с надписью «Конец дороги Линкольна». Это конец великой дороги, которая идет из Чикаго до Тихого океана. Я опять живо представил себе эти громадные полосы бетона, которые тянутся через весь материк. Так едешь в пустыне по дороге, едешь один, никого нет, никто не едет навстречу и не нагоняет сзади, только горы, плоскогорья, поросшие пыльными букетиками, опять красные и синие пемзовые скалы, кто-то сделал эту замечательную дорогу и ушел, не требуя похвал. В области техники это удивительно скромные люди. Линкольнвэй – дорога на тысячи миль, а столбик крошечный, увидеть его почти невозможно...

[Голливуд], 9 декабря 1935 г.

...Утром мы выехали из Сан-Франциско и приехали через четыре часа в Кармел. Это маленький город на самом берегу океана. Тепло и тихо. Пошли к Альберту Рис Вильямсу. Он писатель, много раз у нас бывавший. Живет он очень скромно. Жена его уже поджидала нас. На ней было чувашское платье. Семилетний маленький Рис Вильямс завязывал шнурки на ботинках. Потом пришел Вильямс – громадный детина, седоватый и румяный. Жена его Америки не выносит, хотя старинная американка из очень богатой семьи. Ей даже океан не нравится, хочется в Москву. Она успела сказать, что Черное море красивей Тихого океана, и мы все вместе отправились к писателю Линкольну Стеффенсу.

В чудном доме с садом лежал в постели знаменитый американский писатель. Ему семьдесят лет, у него больное сердце, и он уже несколько лет почти не встает. Все, о чем мы говорили, сводится к одной фразе, которую он произнес среди многих других: «Это ужасно – считать себя всю жизнь честным человеком и не понимать, что на самом деле был взяточником». Он говорил это о себе, о всей своей жизни. Все его надежды теперь на Москву. Я не мог без волнения слушать его. Он скоро умрет, знает это и хочет умереть в Советском Союзе.

Потом Вильямс повел нас обедать к мистеру Шорту. Мистер Шорт юрист, богатый человек, у него четверо громадных мальчиков из все того же «Нашего гостеприимства». Он почему-то написал статью о «Золотом теленке». В камине пылали бревна, а мы препирались об искусстве с английским художником... Покончив с этой сложной ситуацией, мы отправились в дом архитектора Грина. Дом построен в стиле испанских миссий, и в его большом зале с грубыми стенами было много людей. Очень странное общество. Какие-то поразительно некрасивые американские старухи, какие-то дочери обедневших миллионеров, занимающиеся изготовлением дамских сумочек в тошнотворно интеллигентном стиле, робкие и красивые молодые люди, бывший боксер мистер Шарки, заработавший миллионы какими-то делами, не имеющими к боксу отношения. Боксер сразу наврал, что был вместе с Пири на полюсе, что он точно знает, кто убил ребенка Линдберга, и немедленно повез нас к себе. Дом его уже так близко расположен к океану, что прибой влезает в громадные чистые окна... Он показал нам своих трех девочек. Они спали. Потом показывал, как надо боксировать, как надо пить ямайский ром, и как надо смотреть на океан. Он очень богат, но не очень счастлив. Два года назад жена убежала от него с его же дворником. Девочек своих он так любит, что сам шьет им платья. Ну, об этом долго рассказывать. Тут попадаются очень различные люди и в очень странных сочетаниях. Ночевал у Вильямса.

Утром мы опять были у Линкольна Стеффенса, распрощались и поехали в Голливуд. Приехал сейчас. Теперь двенадцатый час уже. Жалко, что про Сан-Франциско так мало тебе написал, там было много интересного.

...Ровно месяц назад я уехал из Нью-Йорка. Мы проехали уже пять с половиной тысяч миль...

[Голливуд], 10 декабря 1935 г.

...Голливуд – это уже начало обратного пути. Теперь, куда бы ни ехал, все равно я еду домой, ближе к Атлантическому океану. Здесь я пробуду дней шесть, как видно. Потом по мексиканской границе мы проедем в черные штаты и возвратимся в Нью-Йорк к десятому января. Поездка на Кубу и Ямайку заключается в следующем: компания, торгующая бананами, «Юнайтед Фрут» перевозит их на своих собственных пароходах. Их сто штук, и они называются «Великий белый флот». Один наш новый американский друг занимает в этой компании какой-то пост и предложил нам эту поездку. Если он не просто сболтнул, то по возвращении в Нью-Йорк мы поедем. Это должно занять еще двенадцать дней. Сам Нью-Йорк отнимет еще десять дней. Разучился писать на машинке и делаю много ошибок. Итак, я рассчитываю, что числа двадцать пятого января мы уедем из Америки. Если нам удастся попасть в Англию, то на это уйдет еще две недели. В общем, получается так, что в середине февраля я буду дома...

Путешествие совершается в полном порядке, и все идет очень хорошо. Здесь я еще ничего и никого не видел, потому что приехал только вчера поздно вечером. Так как приближается рождество, то во всех городах уже началась суматоха. В Голливуде на Главной торговой улице стоят искусственные елки. Их множество, и на каждой горят разноцветные электрические лампочки. Вот все, что я здесь пока увидел.

В Сан-Франциско было много встреч. Там, где есть наш консул, обязательно идут приемы, встречи и все такое. Среди всего другого, в последний вечер, были у русских молокан. Они пригласили нас на чаепитие. Тут увидел таких баб, которые как будто никогда из русской деревни не выезжали. Удивительный был вечер. Они пели духовные песни, и Трон пел вместе с ними. Он даже громче других пел: «Путь нам Христос указал». Он такой человек. С молоканами он молоканин, с боксерами – боксер. В Синг-Синге он сажился на электрический стул и сидел на нем с удовольствием. Это Пиквик. Ездить с ним очень приятно и смешно...

[Голливуд], 13 декабря 1935 г.

...Вчера и сегодня только и делаю, что смотрю фильмы. Вчера Майльстон показал нам три картины. Одну свою – «Сенсация». Это та пьеса, которая шла в Москве, в Вахтанговском театре. Хорошо, но не замечательно. Другая – «Доносчик» – картина удивительная. Про третью – «Мерзавец» – я уже Вам тоже писал в открытке. Конечно, в письме этого не расскажешь. Сегодня нам показал две своих картины Мамульян: «Доктор Джекиль» по Стивенсону и толстовское «Воскресенье». «Джекиль» сделан превосходно.

...Сегодня в Голливуде просто жарко, как в Одессе летом. Сухо и жарко. Был в студиях, смотрел съемки, видел хороших и известных актеров, видел и плохих, но тоже известных, видел совсем уже неинтересных, но все-таки известных...

[Голливуд], 15 декабря 1935 г.

...Я тебе уже писал вчера в открытке насчет предложения Майльстона. Он предложил нам написать для него большое либретто сценария. Тему мы предложили из «Двенадцати стульев», но очень видоизмененную. Действие происходит в Америке, в замке, который богатый американец купил во Франции и перевез к себе в родной штат. Майльстон один из лучших режиссеров Голливуда. Он ставил «На западном фронте без перемен». Сюжет ему очень понравился. Мы будем писать его десять дней, а потом он сам будет делать из него сценарий...

[Голливуд], 22 декабря 1935 г.

...В Голливуде ослепительный солнечный свет и летние горячие дни. Двадцать второе декабря, а сидишь в кафе, двери которого открыты на улицу и с улицы входит в помещение теплота летнего вечера.

Либретто мы написали на двадцати двух страницах. Сюжет Майльстону очень нравится, и, если не будет никаких добавлений, у нас еще останется дня два для поездок по окрестностям. Двадцать шестого мы уезжаем в Сан-Диего на мексиканской границе и там встретимся с Тронами, которых мы на эти дни, чтоб они не томились в провинциальном Голливуде, заслали в Мексику отдыхать. Оттуда почти без остановок поедem в Нью-Орлеан. В общем, к тому же десятому января попадем в Нью-Йорк...

[Голливуд], 22 декабря 1935 г.

...Написать тебе, что я сегодня делал? Не потому, что именно сегодняшней день интересен, а для того, чтобы ты знала, как мое время проходит.

Очень поздно встал. Этого почти никогда со мной здесь не бывает, но вчера был в гостях у дочки старого Н. Сам он живет в Нью-Йорке, она здесь – и замужем за русским актером Тамировым. Тамиров, конечно, снимается в какой-то студии в ролях мексиканцев, испанцев,

венгерцев. Дело в том, что почти все иностранные актеры не играют в Голливуде американцев. Им мешает акцент. Они играют иностранцев, для которых акцент на экране естествен. Очень долго объяснял, но все-таки не знаю – понятно ли.

Засиделся там до трех часов, раньше уйти не удалось. Утром потащился завтракать на наш же Голливуд-бульвар, в итальянский ресторан «Муссо Франк». Пил томатный сок, ел сардинки и макароны с сыром. Иногда приятно отдохнуть от американской кухни, где обед начинается с дыни, хлеб не имеет никакого вкуса, а черное кофе, хоть убей, обязательно подается перед сладким.

Потом за нами заехал представитель нашего Амкино... и мы поехали в Пасадену... Пасадена находится в тринадцати милях от Голливуда и так же, как Голливуд, считается отдельным городом. Но вокруг Лос-Анжелеса много городов, все это сливается вместе, и разобраться довольно трудно, где кончается один город, где начинается другой. Один человек здесь сказал мне, что это вообще «двенадцать предместий в поисках города», потому что и сам Лос-Анжелес похож на предместье.

В общем, приехали в Пасадену. Нам надо было зайти к некоему доктору, другу Советского Союза, на обед. Мы проезжали в городе мимо какого-то стадиона. Остановились на минутку, чтобы посмотреть, что там делается. На стадионе играли в бейсбол. Зрителей было десятка четыре. Игра уже кончалась. Впереди меня сидел старик в несвежем фланелевом костюме и с дико суковатой палкой в руках. На кого-то он был похож, этот старик. Это был Эптон Синклер. Он недавно выставил свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии и чуть не прошел. Он собрал девятьсот тысяч голосов, а его противник – один миллион пятьдесят тысяч. Синклер является создателем нового течения под названием «Покончим с нищетой в Калифорнии». Я тебе об этом расскажу подробно. Мы познакомились тут же. Он очень обрадовался и долго твердил, что никогда так не смеялся, как читая «Золотого теленка». Он повел нас к себе, подарил три своих книги. Мы поговорили с ним около часу и расстались.

По случаю воскресенья у доктора был холодный обед. Холодный, но вкусный и похожий на русский. Тут же за столом выяснилось, что дочь доктора живет в Москве... Поговорили, поговорили и поехали домой. Я еще погулял по широким, замечательно освещенным и невыносимо скучным улицам Голливуда и пошел в свой отель. Женя забежал в кино и, наверно, сейчас уже придет. Вот и все, что было сегодня. То есть было еще что-то, но уже не помню. Недалеко от отеля, где мы живем, есть магазин собак, птиц и обезьян. Там маленькая обезьяна воспитывает свое дитя. Сидят они в крошечной клетке, и публика на них смотрит. И трогательно, и немножко страшно, до того похоже на человека.

...Устал писать. Столько накарлякал, что руки заболели. Про одного голливудского хозяина, старого Голдвина, рассказывают, что он о своей жене сказал так: «Вы знаете, у нее такие красивые руки, что с них уже лепят бюст»...

[Бенсон, Аризона], 27 декабря 1935 г.

...остановился я в маленьком городе. По путеводителю здесь восемьсот пятьдесят жителей. Больше действительно нет. Обыкновенный американский городок – несколько прекрасных газелиновых станций, для проезжающих на автомобилях, две или три аптеки, продуктовый магазин, где все продается уже готовое – хлеб нарезан, суп сварен, сухарики к супу завернуты в бумагу. Что тут люди могут делать, если не сходить с ума? Некоторые сходят, но таких немного. Большинство живет, утром ест ветчину с яйцами, много и хорошо работает, любит своих жен и помогает им хозяйничать, очень мало читает и довольно часто ходит в кино. Там они смотрят фильмы, которые почти все ниже достоинства человека. Такие фильмы можно показывать котам, курам, галкам, но человек не должен все это смотреть. Однако обитатели городков смотрят и не сердятся. Можно даже услышать, выйдя из кино, как они говорят: «Я имел хорошее время». Ну, бог с ними. Почему так происходит – дело сложное и коротко рассказать нельзя.

Сюда я приехал через громадные поля кактусов. Я не сводил с них глаз. Одни из них молились, другие обнимались, третьи нянчили детей, а некоторые просто стояли в горделивом спокойствии. Удивительно. И еще интересно то, что кактусы живут, как индейские племена когда-то жили. Где живет одно племя, там другому нет места. Они не смешиваются – в одном месте растут одни, в другом – совсем другие. Я послал тебе уже несколько открыток с фотографиями кактусов и очень много сделал снимков сам, но мне кажется, что это надо видеть глазами.

В Голливуде все наши дела шли хорошо и только на одно можно пожаловаться. Мы не увиделись с Чаплином. История этого невезения такая: когда мы только приехали, Чаплин делал музыку к своей новой картине. Ее название по-русски звучит так: «Нынешние времена». Это не очень благозвучно, но по смыслу верно. И он был так занят, что подступиться было невозможно. Потом мы занялись либретто и перестали в суматохе думать о свидании. А когда мы освободились, то подошло рождество, и уже ничего нельзя было сделать, никого нельзя было найти. И еще, человек, который нам должен был устроить эту встречу, оказался не слишком энергичным. Так все это произошло. Я очень жалею об этом. Утешает меня только то, что чаплинская картина с шестнадцатого января пойдет в Нью-Йорке, и я ее увижу. Это, пожалуй, даже главнее всего.

Калифорнийский климат меня разбаловал. Не представляю себе морозов, холодов, дождей, инея, даже прохлады. Но пробуждение уже наступает. Аризона, конечно, не Сибирь, даже здесь можно после захода солнца ходить без пальто двадцать седьмого декабря, но все-таки это не Калифорния.

Опять еду через пустыню, более южной дорогой, чем мы ехали в Сан-Франциско. Понимаешь, милый мой друг, это очень географическая страна, если можно так выразиться. Здесь видна природа, здесь нельзя не обращать на нее внимания, это невозможно. Последний раз я видел Тихий океан, когда ехал навстречу с Тронами в Сан-Диего. Мы ехали поездом через апельсиновые рощи знаменитой долины салатов, дынь и апельсинов Империял валли, мимо нефтяных вышек по берегу. Заходило солнце, красное, помятое, комичное, потерявшее достоинство светила. Красиво и грустно.

Стал бы я писать о заходах солнца при моей застенчивости. Как видно, какой-то особенный заход. Завтра вечером я должен приехать в Эль-Пасо. Первого января мы будем в Сан-Антонио. Расписание пока соблюдается...

[Эль-Пасо, Техас], 29 декабря 1935 г.

...Техас это будет по-испански, а американцы говорят «Тексас». Сегодня отправил тебе открытку из Мексики. Мексиканский город Хуарец примыкает к Эль-Пасо вплотную, надо только перейти мост через реку. Мы там были вчера вечером. Очень странно приходиться пешком в другое государство.

Эль-Пасо воспринимается как какой-то трюк. После невероятной по величине пустыни вдруг на самой границе большой город, громадные здания, мужчины одеты точь-в-точь, как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, девушки, раскрашенные, как следует, вообще все имеет такой вид, что пустыни будто бы никакой нет.

И рядом с этим городом, через маленькую здесь реку Рио-Гранде, тоже город, но совсем непохожий на Америку. Пахнет жареной едой, чесноком, ходят босяковатые смуглые молодые люди с гитарами, калеки просят милостыню, двести тысяч микроскопических мальчиков бегают с щетками и ящичками для чистки ботинок. Что-то похожее на Молдаванку, и в то же время совсем другое. Здесь я пообедал, остерегаясь, впрочем, заказывать национальные мексиканские блюда. Я уже их ел в свое время в Санта-Фе. Это вкусно, но так жжет, что без пожарной каски на голове за стол садиться опасно.

Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуареце. Вообще-то мы должны были уехать сегодня утром, но из-за боя остались на день. Я об этом не жалею, но скажу тебе правду – это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. Очень красивый и очень грубо построенный круглый цирк без крыши. Какое-то народное по характеру здание. Хорошие люди сидели на цементных сиденьях. Тем, которые боялись простудиться, продавали за десять центов матрацные подушечки. Играл большой оркестр из мальчиков, одетых в серые штаны с белыми лампасами. В программе было четыре быка, которых должны были убить две девушки-тореро. Быков убивали плохо, долго. Первая тореадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-тореро заплакала от досады и стыда.

...С другими быками тоже дело шло плохо. Но особенно подлое зрелище было издевательство над четвертым. Это был шуточный номер. Матадор и его товарищи были одеты в дурацкие цирковые костюмы, делали всякие клоунские глупости, и от этого все сделалось еще унижительнее и страшнее. Раз в жизни это можно посмотреть, но здесь нет никакого спорта. Бык не хочет бороться. Он хочет назад, в свой хлев. Его надо ужасно мучить, чтоб он разозлился...

Между прочим, я, кажется, забыл тебе написать, почему мы не были в Канаде, когда ехали из Нью-Йорка в Детройт. Мы побоялись, что наша американская виза потеряет силу, если мы покинем территорию Соединенных Штатов. Но тут мы точно разузнали, что этого не случится, и посмотрели еще один народ у себя дома...

[Сан-Антонио, Техас], 31 декабря 1935 г.

...Сегодня мы целый день ехали вдоль мексиканской границы, по старой испанской тропе. От тропы, конечно, ничего не осталось. Это большая федеральная дорога, без экзотики, зато очень удобная. Ковбои гонят своих коров, охотники везут на передке автомобиля убитых небольших оленей, делается все, что для Техаса обычно.

В Сан-Антонио я приехал только что, и Новый год буду встречать здесь. Это большой город. Кажется, двести тысяч населения. Еще только семь часов вечера, но уже грохочут какие-то хлопушки. Может быть, мы пойдем в ресторан к полночи, а может, просто будем ходить по улицам. Говорят, что в Нью-Йорке это интересно. Здесь, вряд ли.

Мне очень понравились Карлсбадские пещеры. Это было вчера. Мы ехали довольно плоской и скучной пустыней. Пустыня была настоящая, без украшений. И вот в центре этого унылого на вид плоскогорья стоит небольшой дом. В нем два совершенно нью-йоркских лифта, которые быстро свезли нас вниз, под землю, на семьсот футов. Здесь мы два часа ходили по сталактитовым пещерам. Это так красиво, необычно и удивительно, что я писать об этом не могу. Самые грандиозные в мире декорации, вот что я могу сказать...

[Нью-Орлеан], 3 января 1936 г.

...Что-то я устал сегодня, хотя не бегал. Не знаю почему. Просто путешествие идет к концу. Нельзя же все время смотреть, смотреть без конца... по совести, хочу домой. Но нельзя же все бросать. Потом будет жалко. А сейчас жалко, что не еду домой. Удивительное все-таки учреждение почта. Вот я писал тебе из Таоса. Это ведь невероятная глушь. Там и железной дороги нет. А письма пришли. Через всю Америку, океан, Европу.

Гулял вечером по городу. Это юг, настоящий американский юг. Ночь, порт, тепло. Особые кино для негров, особые улицы. Целый день сегодня ехал по Луизиане. Удивительно красивая и мягкая, добрая природа. Если дерево стоит над дорогой, то это такое большое, старое, пушистое и доброе дерево, что вырасти оно могло только на литературной почве. Какие-то текут мелкие тихие речки. На них качаются старые разбитые лодки. На берегах негритянские

деревни, построенные из щепочек. Все старомодное, поломанное, старинное. Заводы с высокими тонкими трубами и шляпки пожилых негритянок одного возраста, старое-престарое...

[Нью-Йорк], 12 января 1936 г.

...я опять в Нью-Йорке и как раз в том отеле, где остановился в первый день приезда в Америку. Может быть, это письмо дойдет раньше, чем другие, я отправлю его воздушной почтой. Поэтому еще раз пишу, что на острова мы не поедem. Это очень долго, займет еще целых две недели. И как это ни соблазнительно (даром в тропики), мы решили не ехать. Планы такие: как можно скорее устроить все дела в Нью-Йорке и ехать в Англию на десять – двенадцать дней.

...Надеюсь пробыть здесь не больше недели, в крайнем случае, десяти дней.

...Очень тороплюсь и пишу, как попало. Хотел бы рассказать тебе о том, как президент принимает журналистов, но придется это сделать в другом письме.

Нью-Йорк, от которого я немножко отвык, больше всех других городов в мире подходит под понятие Вавилона. Он, тем не менее, мне не разонравился...

[Нью-Йорк], 14 января 1936 г.

...за много дней в первый раз мне никуда не надо отправляться, никуда не надо бежать. Я пообедал один в кафетерии рядом с гостиницей и теперь один в номере. Сажу себе, думаю, что думаю – не знаю, что-то сердце болит, хочется домой.

...Что-то сердце у меня болит в Нью-Йорке. Ем очень много, наверно от этого. Напротив гостиницы – готическая церковь. Это считается хороший тон – готическая. В маленьких городах этого нет, куда им. У них с колоннами, вроде дома Жолтовского. Рядом Пятая авеню и сейчас же Импайр Билдинг. К нему привыкнуть нельзя. Хожу вокруг него, хожу и что-то бормочу все время. Если вслушаться, так все какие-то глупости: «Ах, черт! Ну, ну! Ох, здорово!» Так что вслушиваться противно. Для рекламы Импайр освещается, в пустых комнатах горит ровный свет. Был ли я в пустыне? Уже это сделалось недостоверным. Сейчас в Нью-Йорке красиво. Свежо, ветер дует, солнце. Только весь день впечатление, что закат. Дома такие высокие, что солнечный свет только наверху. И уже с утра закат. Наверно, от этого мне грустно.

Я тебе уже сообщил сегодня воздушной открыткой свой лондонский адрес. Еду на очень большом, удобном и старом английском пароходе «Маджестик». Это будет двадцать второго. Приеду в Англию числа двадцать девятого и пробуду там десять – двенадцать дней. Как еду назад, каким путем, мы еще не установили...

Е. П. Петров – В. Л. Катаевой

8 октября 1935 г. [Нью-Йорк]

...Сию всего-навсего на 27 этаже Shelton Hotel и пишу тебе, глядя через окно на феерическую картину ночного Нью-Йорка. Из нашего номера виден весь центр города с самыми знаменитыми небоскребами, Гудзон с двумя мостами и Бруклин. Подо мной, глубоко внизу, с грохотом проезжают поезда надземной железной дороги (называется это здесь – «Элевейтор»), а под ними двухэтажные автобусы, трамваи и автомобили. Еще ниже, под землей, есть еще одна шумная штука – несколько этажей собвея (метро), но как ты, вероятно, догадываешься, их я не вижу. Виден только, когда проходишь по улице, пар, вырывающийся наверх из вентиляции метро.

Живем мы в весьма фешенебельном районе, рядом с Парк-авеню, Рейдио-сити, Импаиром и центральным вокзалом. Собственно, вокзал находится под землей, а потому никаких признаков железной дороги – ни паровозов, ни семафоров, ни стрелочников – не видно. Виден только малюсенький сорокаэтажный домик, в котором помещается железнодорожная гостиница. Самый вокзал еще не видели. Пойдем посмотреть на днях.

Были сегодня в консульстве, где нас очень хорошо приняли, и у издателей (где тоже хорошо приняли). Завтра издатель устраивает для нас встречу с некоторыми американскими писателями и представителями прессы в клубе Гарвардского университета. Таким образом, мы начали деловую жизнь в первый же день по приезду.

Приехали вчера, в пять часов. «Нормандия» подошла к огромной пристани, состоящей из нескольких этажей таможенных зал, и все-таки пристань по сравнению с ней оказалась маленьким сооружением. Пока проверяли паспорта и делали мрачные попытки отвезти нас на «остров слез», прошло два часа, и мы въехали в город, когда было уже совсем темно, то есть вернее – светло, так как город изумительно освещен рекламами. Побродили немного по Бродвею, подивились на сумасшедшую беготню и кружение теснящих друг друга белых и красных электрических букв и солнц, – и пошли спать. После пяти дней океана я весь этот вечер чувствовал, что тротуар плавно уходит из-под ног, и Бродвей начинает медленно покачиваться. Сегодня, разумеется, все прошло.

В первый раз за время путешествия я чувствую себя превосходно. Это, очевидно, потому, что Европу я уже видел раньше и потому болезненно ощущал гниль парижского воздуха. Здесь же я впервые и потому испытываю радость закоренелого путешественника.

Девятнадцатого октября мы выедем на две недели в Буффало на Ниагару, в Чикаго, Детройт и Питсбург. Потом снова будем жить в Нью-Йорке недели две...

6 ноября 1935 г. [Нью-Йорк]

...Вот наш точный план: восьмого ноября, рано утром, мы выезжаем в большую поездку по Америке. Наш маршрут: Нью-Йорк, Буффало, Ниагарский водопад, дальше через территорию Канады в Детройт. Потом Чикаго, Канзас-Сити, Санта-Фе, потом либо через «Соленое озеро», либо южной дорогой – в Сан-Франциско. Это уже Калифорния. Дальше – Лос-Анжелес (с Холливудом), Сан-Диего, немного мексиканской территории, Техас, Миссисипи, Флорида, Вашингтон,

Нью-Йорк. Путешествие колоссальное – примерно до пятнадцати тысяч километров. Возвращаемся в Нью-Йорк в начале января...

В январе мы на двенадцать-четырнадцать дней, вероятно, поедem в тропики (в Кубу и Ямайку) на банановом пароходе. Потом снова вернемся в Нью-Йорк и тогда уже поедem домой. Очевидно, дома мы будем в начале февраля. Поедем через Англию, где, надо полагать, задержимся на неделю. Вот и все...

15 ноября 1935 г. [Чикаго]

...Десять минут тому назад наш фордик доставил нас в Чикаго, и мы водворились в отеле «Стивенс» – самой большой гостинице в мире.

Тут три тысячи номеров, и мы, надо сознаться, занимаем не лучший из них (вместе с гаражом шесть долларов в сутки. Печальный факт!). Живем, как водится, на двадцать четвертом этаже с чудным видом на стенку соседнего небоскреба, до которого, если хорошо вытянуться, можно достать рукой. Сейчас восемь часов вечера. По-ню-йоркски – семь, так как мы движемся к западу и выигрываем по часу на каждую тысячу миль (тысяча шестьсот километров). В Москве сейчас приблизительно часа четыре ночи...

Здесь сильный ветер. Гостиница дорогой своей стороной (у нас дешевая) выходит на озеро Мичиган. Если ты взглянешь на карту, то увидишь, что озеро это величиною с Азовское море (если не больше). Итак – дует ветер. По широчайшей набережной, состоящей из нескольких широких бетонных шоссе, слепя огнями, несутся машины. Их очень много, чего нельзя сказать о прохожих, которых почти не видно. Это очень типично для американских городов (за исключением центральных улиц Нью-Йорка). Здесь также множество световых реклам. Набережная густо утыкана небоскребами, и тут же рядом, буквально в двух шагах, идут ужасные, мрачные, темные улицы. Обе стороны медали почти одновременно предстают глазам путешественника.

...Сейчас идем обедать. Американская кухня мне безумно надоела. Все здесь очень добросовестное, умеренное по цене, чистое, но на редкость безвкусное. Здесь не едят, а питаются. Как коровы, которым приготавливают особое пойло, которое благотворно влияет на удой...

10 декабря. 1935 г. [Холливуд – Лос-Анжелес]

...Вот мы попали еще в одну неисследованную точку земного шара. Для вашего брата-киноактрис (ты все еще хочешь сниматься?), это предел мечтаний. Для нашего же брата-писателя, это обыкновенный, одноэтажный американский город со всеми его «кафе-шопами», аптеками (в аптеках здесь едят, и можно купить, что угодно, вплоть до часов) и замечательными, широкими, как двуспальная кровать, и гладкими, как танцевальная площадка, дорогами. При всем этом, огромное количество больших и малых пальм. Приехали вчера вечером. Улицы, ввиду приближения рождества, украшены искусственными елками, надетыми на фонарные столбы. Елки эти усыпаны электрическими лампочками. Горит вся улица, от края до края. Это красиво. Сейчас утро, и я еще не выходил из гостиницы «Холливуд», что на Холливудской улице. Вижу через окно асфальт улицы, залитый солнцем, горят стекла автомобилей. Прошел очень длинный кирпично-красный вагон трамвая...

Фактически Сан-Франциско был крайней точкой нашего путешествия. Теперь медленно, но верно мы начали двигаться домой. Настала вторая часть путешествия. Сейчас кончу письмо и поеду в Лос-Анжелес на почту...

Хочу домой, в Москву. Там холодно, снег, жена, сын, приходят симпатичные гости, звонят по телефону из редакции. Там я каждый день читал газеты, пил хороший чай, ел икру и семгу. А котлеты! Обыкновенные рубленные котлеты! С ума можно сойти! Или, например, щи со сметаной, или беф-строганов.

Ну, размечтался!..

14 декабря 1935 г. [Холливуд]

...В Холливуде мы задержались на десять дней. Очень знаменитый и весьма советски настроенный кинорежиссер Майльстон, заказал нам сценарий по сюжету, который мы ему рассказали и который ему понравился. Работа предстоит очень тяжелая. Чтобы не увеличить сроков поездки и приехать домой, как обещали, в середине февраля, мы должны будем работать

как звери... По окончании работы мы поедем дальше по намеченному маршруту, а Майльстон пришлет нам в Нью-Йорк ответ: принят сценарий или не принят... Однако мы не обольщаем себя надеждами. Комедия будет из американской жизни, довольно сатирическая, и голливудские зубры могут испугаться. Здесь зверская цензура (церковная и политическая). Живут, несмотря на крупные заработки, уныло. Режиссеры и актеры жалуются, что хозяева не дают им свободно вздохнуть. Безумно боятся, что в любую минуту могут оказаться на улице. Кино в упадке. На одну хорошую картину приходится несколько сотен неслыханной дряни и пошлятины. В кино просто невозможно ходить. Некоторые хорошие режиссеры устраивают нам частные просмотры и показывают хорошие фильмы за несколько лет...

20 декабря 1935 г. [Голливуд]

...Работаем по целым дням, как звери. Хотим кончить раньше десятидневного срока. Голливуд опротивел окончательно и бесповоротно. На первый взгляд непонятно: как это вдруг может опротиветь чистенький город с одним из самых устойчивых на земном шаре климатов. Мне это было неясно. А теперь я понял. Здесь все какое-то неживое, похожее на декорацию. Сильное, резкое солнце. Поэтому – резкие тени. На солнце жарко, в тени – холодно. Обилие больших пальм, как всегда, придающих городам декоративность. Полное отсутствие архитектуры – одноэтажные и двухэтажные дома, главным образом, белые. Огромное количество автомобилей, газолиновых колонок, световых реклам. Сбивающая с ног вонь от бензинового перегара. Последние дни у меня ежедневно головные боли. Театра, как и во всех почти американских городах, нету. А смотреть кинофильмы невыносимо. Обычно, это бывает неслыханная, невиданная дрянь. Все хорошие фильмы за последние несколько лет мы уже успели посмотреть в несколько дней. Жду, не дождусь отъезда.

Двадцать шестого декабря мы должны выехать в Сан-Диего, встретиться там с нашими попутчиками и ехать обратно в Нью-Йорк с остановками в Сан-Антонио (один день), Нью-Орлеан (два дня), Миссисипи (один день), Алабама (один день) и Вашингтон. Там в начале января открывается сессия конгресса, на которую мы хотим попасть...

Я безумно тороплюсь. Надо работать. Есть всего минуты на отдых и письма...

29 декабря 1935 г. [Эль-Пасо, Техас]

...Вчера вечером приехали в Эль-Пасо, штат Техас, на самой границе с Мексикой. Пообедали и пошли гулять по городу, отличающемуся от нормальных американских городов несколько большим оживлением. Неожиданно выяснилась весьма привлекательная штука. Оказывается, здесь есть мостик, проложенный через речку. Речка – это граница. А за речкой – мексиканский город Хуарес в самой что ни на есть Мексике, и ходить через мостик можно без всякой визы. Мы, конечно, отправились в этот Хуарес. И действительно, сразу же за мостом началась совсем другая страна: грязно, живописно, на улицах полно праздного народа. Стоят такие мексиканские парни с бачками, в широкополых шляпах, с лимонными лицами, торгуют семечками, орешками, чистят желающим ботинки и прочее. За самым мостом множество баров и кабаре. Это сохранилось со времен «сухого закона» в Америке, когда американцы ходили через мост выпить. Теперь алкогольное значение этого великого города исчезло. Из достопримечательностей, рекомендуемых населением, есть рынок, церковь и тюрьма. Сейчас позавтракаем и пойдем смотреть.

Сегодня в Хуаресе состоится бой быков. Надеемся туда попасть. Будут выступать две тореадорши, которые убьют четырех быков.

Видишь, какой чудный сюрприз в пустыне?!

...Завтра утром едем в Сан-Антонио, затем в Нью-Орлеан. Дальше немного изменим маршрут – поедем во Флориду, до Майами и даже дальше – в Ки Вест (посмотри на карте). Оттуда, если получим визу, переедем на пароме с автомобилем в Гавану (остров Куба), пока-

таемся там два дня и – домой – в Нью-Йорк. Будем там с семнадцатого по двадцатое января. Зато пароходное путешествие на Кубу и Ямайку отпадает, и мы сразу же выедем в Европу...

5 января 1936 г. [Пенсакола, Флорида]

...Расстояние между нами все уменьшается. Сегодня выехали из Нью-Орлеана и сделали свыше двухсот миль. Это немного. Но нас застал дождь, а ехать ночью по мокрой дороге не рекомендуется. Заночевали в городе Пенсакола. Это небольшой порт на берегу Мексиканского залива. К твоему сведению – Мексиканский залив – это тот самый, откуда выходит Гольфстрим. В течение сегодняшнего дня побывали в четырех штатах: сперва Луизиана, потом Миссисипи, затем Алабама и, наконец, Флорида. Почти весь день ехали по берегу залива. Шел дождик. По заливу бежали барашки. Масса замечательных сооружений по борьбе с водой: мостов, дамб, набережных. За все это пришлось платить. Один раз за переезд через мост взяли полтинник, второй раз – один доллар тридцать пять центов. Вздохнули и заплатили. Расходов много, несмотря на то, что машина очень экономична и берет минимум бензина и масла, и что мы живем бодрой монашеской жизнью, не позволяя себе никаких роскошей и излишеств. По вечерам, сидя на кроватях, тупо считаем доллары и центы, и поражаемся, что этих самых долларов и центов становится все меньше и меньше.

– Нет, – говорим мы каждый вечер, – надо сократить расходы.

Вспоминаем советы каких-то докторов, которые рекомендовали лечиться голодом и не есть по несколько дней. Сожалеем, что доктора не изобрели способа не платить за гостиницу и бензин. А в следующий вечер опять считаем центы и доллары.

Нет, нет, пора домой! Мое любопытство истошилось, нервы притупились. Я до такой степени набит впечатлениями, что боюсь чихнуть – как бы что-нибудь не выскочило. А вокруг масса интересного. Всюду негры, негры и негры. Для них особые уборные, кинематографы, церкви и отделения в трамваях. Живут паршиво, чего нельзя сказать о богатых белых. Нам уже все известно. Мы уже знаем об Америке столько, что большего путешественник узнать не может. Домой! Домой! Сейчас не знаем, что делать – предстоит райское и к тому же бесплатное путешествие в тропики. Двенадцать дней мы сможем отдыхать от непрерывной двухмесячной езды и работать. Мы можем увидеть Ямайку – один из самых красивых уголков на земле. И вот колеблемся – ехать или не ехать. Ведь знаем, что все нас будут ругать последними дураками, и сами мы себя будем ругать, если не поедем; но вот не можем решить. Ум хочет в тропики, а душа – в Москву, в Нащокинский, кривой и грязный переулок! В Нью-Йорке решим, как быть. А пока с такой стремительностью мчимся в этот небезызвестный город, что даже оставляем в стороне Майами – один из самых краси... уголко... Черт с ним!..

12 января 1936 г. [Нью-Йорк]

Ура! Ура! Вчера вечером возвратились в Нью-Йорк. От Вашингтона до Нью-Йорка ехали поездом, так как задержались в столице на два дня, и наши попутчики уехали вперед на машине. Всего сделали в машине ровно десять тысяч миль или шестнадцать тысяч километров, а сама автомобильная поездка заняла ровно два месяца – выехали из Нью-Йорка девятого ноября, а вернулись в Вашингтон девятого января. К счастью, не было ни одного мало-мальски серьезного «эксидента», хотя несколько довольно печальных аварий мы видели по дороге. Оба мы зверски устали. В особенности Ильф. От поездки в тропическое путешествие решили вовсе отказаться. Хотя оно и заманчиво, но тоска по дому перевесила. Хочется скорее сесть на пароход и плыть в Европу. Завтра с утра пойдем в Интурист и договоримся о точном дне отъезда...

В Англии хотим пробыть недели две. Потом – прямо домой. Европейский маршрут еще не решен, но, по всей вероятности, поедем на Ленинград...

В Вашингтон мы попали очень удачно – видели президента, были представлены министру иностранных дел, присутствовали в конгрессе во время голосования сенсационного вопроса о

премиях для ветеранов войны, видели старика Моргана во время допроса его сенатской комиссией и имели беседу с сенатором Бора – одним из возможных кандидатов в президенты. Как видишь, последние дни путешествия оказались не менее удачными, чем предыдущие...

Евгений Петров Из воспоминаний об Ильфе

1

Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились.

Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Гэллопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий».

Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды».

Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?»

Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось.

Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы – трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдать ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь не имеющем никакого отношения к нашей теме, – например, о Лиге Наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга.

И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка – самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все мучения кончались. Мы знали по опыту – если есть первая фраза, дело пойдет.

Но вот в городе Гэллопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились.

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным – из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная – с криком, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго – часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым «чуждым смехом», после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым «здоровым смехом». Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же – нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Гэллопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором.

Это был самый откровенный разговор, за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачившейся дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства.

Уже очень давно, примерно к концу работы над «Двенадцатью стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое.

– Если слово пришло в голову одновременно двум, – говорил Ильф, – значит, оно может прийти в голову трем и четверем, – значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь, Женя, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения легкое дело?

Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой еврей (загадочная еврейская душа).

Итак, работать нам трудно.

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол.

Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй.

Но тут начинается.

Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрал ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен.

Бывает и иначе.

Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон – не отвечать, пусть ломятся в дверь гости – вон! Писать, только писать. Будем прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе.

Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще, он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов.

Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно.

Один – здоров, другой – болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закуской а-ля-фуршет. Но вот, наконец, прием окончился, и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений.

Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а

наблюдения поверхностными. Мы непрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости.

Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четверем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Гэллопе, штат Нью-Мексико.

Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу – «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь – двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны.

Но тогда, в Гэллопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены.

Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

– Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать.

А через три недели, жарким и светлым январским днем, мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

– Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять, как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите?

Он кашлянул и показал мне платок.

Через год и три месяца, 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера Ильф умер.

2

И вот, я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость.

Как это было?

Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве.

В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь, и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В Охотном ряду и в Обжорном ряду торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая

пешеходов корзинами и лотками, медленно и нахально разбегались по переулкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый, бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обочин стояли извозчики – странные экипажи с очень высокими колесами с узеньким сиденьем, на котором еле помещались два человека. Московские извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями – существа допотопные и к тому же пьяные. В том году милиционерам выдали новую форму – черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка, с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они краевыми палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением.

Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками.

Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевки в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистой фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичиках и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилище в романе «Двенадцать стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца».

Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса.

Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатилетний человек в пенсне с маленькими голыми толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно – «Под суд!»

В комнате четвертой полосы создавалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь непрерывно. Человек, попадающий в эту атмосферу, сам начинал остричь, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы – бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

3

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали рабо-

тать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и, хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим мэтром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг. Но у нас был еще один мэтр, так сказать, профессиональный мэтр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже работал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом «Старик Собакин». И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы.

Однажды он вошел туда со словами:

– Я хочу стать советским Дюма-отцом.

Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы.

– Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? – спросил Ильф.

– Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа, – ответил Старик Собакин, – я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера – и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле.

Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно.

– Есть отличная тема, – сказал Катаев, – стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Seriously. Один роман пусть пишет Илья, а другой – Женя.

Он быстро написал стихотворный фельетон о козликке, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда.

– Ну что, будем писать? – спросил я.

– Что ж, можно попробовать, – ответил Ильф.

– Давайте так, – сказал я, – начнем сразу. Вы – один роман, а я – другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

– А может быть, будем писать вместе? – Как это?

– Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин.

– Как же вместе? По главам, что ли?

– Да нет, – сказал Ильф, – попробуем писать вместе, одновременно каждую строчку вместе. Понимаете? один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе.

В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединенные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными острьяками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли».

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект – двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть.

– А уже тогда я пройду рукой мастера, – пообещал он.

Мы заныли.

– Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, – сказал Ильф, – вот по этому плану.

– Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться.

И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года.

И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я, Ильф убедил меня, что мой почерк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя – Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди – председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи – мадам Петухова и название похоронного бюро – «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

– Давайте начнем просто и старомодно – «В уездном городе N». В конце концов, не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папирозного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова.

Иногда нас охватывало отчаяние.

– Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет, наконец, написана и мы будем везти ее в санках? Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение – работа окончена, больше ничего не надо делать.

Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия.

Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить, хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас, и очень серьезно сказал:

– Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели.

– А как же рука мастера? – спросил Ильф.

– Не прибедняйтесь, Илюша. обойдетесь и без Дюма-пера. Продолжайте писать сами. Я думаю, книга будет иметь успех.

Мы продолжали писать.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти, что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья.

И вот в январе месяце двадцать восьмого года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа.

Мы уложили рукопись в папку. – А вдруг мы ее потеряем? – спросил я.

Ильф встревожился.

– Знаете что, – сказал он, – сделаем надпись. – Он взял листок бумаги и написал на нем: «Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу». И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки.

Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть.

Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.

4

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это делаю жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна, и как мы изменились вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же, мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти.

– Обязательно записывайте, – часто говорил он мне. – Все проходит, все забывается. Я понимаю – записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя.

Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было.

– Худо, худо, – говорил Ильф, – обязательно надо записывать.

Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжечка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплету и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлажде-

ния, книжечка забывалась в старом пиджаке, и, наконец, торжественно приносилась домой новая.

Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, разграфленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил:

– Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева – сюжеты, идеи и мысли.

К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он, несомненно, любил эту толстую книгу, как носительницу совершенно правильной идеи – все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюды-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз.

После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые – на треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками.

В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой.

Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.